

БАРЫНЯ

I

К избе Максима Журкина, шурша и шелестя по высохшей, пыльной траве, подкатила коляска, запряженная парой хорошеньких вятских лошадок. В коляске сидели барыня Елена Егоровна Стрелкова и ее управляющий Феликс Адамович Ржевецкий. Управляющий ловко выскочил из коляски, подошел к избе и указательным пальцем постучал по стеклу. В избе замелькал огонек.

— Кто там? — спросил старушечий голос, и в окне показалась голова Максимо-вой жены.

— Выйди, бабушка, на улицу! — крикнула барыня.

Через минуту из избы вышли Максим и его жена. Они остановились у ворот и молча поклонились барыне, а потом управляющему.

— Скажи на милость, — обратилась Елена Егоровна к старику, — что всё это значит?

— Что такое-с?

— Как что? Разве не знаешь? Степан дома?

— Никак нет. На мельницу уехал.

— Что он строит из себя? Я решительно не понимаю этого человека! Зачем он ушел от меня?

— Не знаем, барыня. Нешто мы знаем?

— Ужасно некрасиво с его стороны! Он оставил меня без кучера! По его милости Феликсу Адамовичу приходится самому запрягать лошадей и править. Ужасно глупо! Вы поймите, что это, наконец, глупо! Жалованья ему показалось мало, что ли?

— А Христос его знает! — отвечал старик, косясь на управляющего, который за-сматривал в окна. — Нам не говорит, а в голову к нему не залезешь. Ушел, говорит, да и шабаш! Своя воля! Должно полагать, жалованья мало показалось!

— А это кто под образами на лавке лежит? — спросил Феликс Адамович, глядя в окно.

— Семен, батюшка! А Степана нету.

— Дерзко с его стороны! — продолжала барыня, закуривая папиросу. — Мсье Ржевецкий, сколько получал он у нас жалованья?

— Десять рублей в месяц.

— Если ему показалось мало десяти, то я могла бы дать пятнадцать! Не сказал ни слова и ушел! Честно это? Добросовестно?

— Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом! — заговорил Ржевецкий, отчеканивая каждый слог и стараясь не делать ударения на пред-последнем слоге. — Вы разбаловали этих дармоедов! Никогда не следует зарасом отдавать всего жалованья! К чему это? Да и зачем вы хотите прибавить жалованья? И так придет! Он договорился, нанялся! Скажи ему, — обратился поляк к Максиму, — что он свинья и больше ничего.

— Finissez donc!*

— Слышишь, мужик? Нанялся — так и служи, а не уходи, когда тебе вздумается, чорт! Пусть только не придет завтра! Я покажу ему не слушаться! И вам достанется! Слышишь, старуха?

— Finissez, Ржевецкий!

— Всем достанется! Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака! С вами церемониться?! Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы только тогда понимаете, ежели вас по шеем бьют и делают вам неприятности! Чтоб ходил завтра!

— Я скажу ему. Отчего не сказать? Сказать можно...

— Скажи ему, что прибавляю ему жалованья, — сказала Елена Егоровна. — Не могу же я быть без кучера. Когда найду другого, пусть тогда и уходит, если ему угодно. Завтра утром чтобы опять был у меня! Скажите ему, что я глубоко оскорблена его невежливым поступком! И вы, бабушка, скажите! Надеюсь, что он будет у меня и не заставит посылать за собой. Подойди сюда, бабушка! На тебе, милая! Что, небось, трудно управляться с такими большими детьми? Бери, милая!

Барыня вынула из кармана хорошенький портсигар, потянула из-под папирос желтую бумажку и подала ее старухе.

— Если же не придет, — прибавила барыня, — то нам придется поссориться, что было бы крайне нежелательно. Но я надеюсь... Вы ему посоветуете. Едемте, Феликс Адамыч! Прощайте!

Ржевецкий вскочил в коляску, взял в руки вожжи, и коляска покатила по мягкой дороге.

— Сколько дала? — спросил старик.

— Рупь.

— Дай сюда!

Старик взял рубль, погладил его обеими ладонями, бережно сложил и спрятал в карман.

— Степан, уехала! — сказал он, входя в избу. — Я ей сбрехал, что ты на мельницу уехал. Перепугалась страсть как!..

Как только отъехала коляска и скрылась из вида, в окне показался Степан. Бледный, как смерть, дрожащий, он выполз наполовину из окна и погрозил своим большим кулаком темневшему вдаль саду. Сад был барский. Погрозив раз шесть, он проворчал что-то, потянулся назад в избу и с шумом опустил раму.

Через полчаса после того, как уехала барыня, в избе Журкина ужинали. В кухне возле самой печи за засаленным столом сидели Журкин и его жена. Против них сидел старший сын Максима — Семен, временноотпускной, с красным испитым лицом, длинным рябым носом и масляными глазками. Семен был похож лицом на отца, он не был только сед, лыс и не имел таких хитрых, цыганских глаз, какими обладал его отец. Рядом с Семеном сидел второй сын Максима, Степан. Степан не ел, а, подперевши кулаком свою красивую белокурую голову, смотрел на закопченный потолок и о чем-то усердно мыслил. Ужин подавала жена Степана, Марья. Щи съели молча.

— Принимай! — сказал Максим, когда были съедены щи. Марья взяла со стола пустую чашку, но не донесла ее благополучно до печи, хотя и была печь близко. Она зашаталась и упала на скамью. Чашка выпала из ее рук и сползла с колен на пол. Послышались всхлипывания.

— Никак кто плачет? — спросил Максим.

Марья зарыдала громче. Прошло минуты две. Старуха поднялась и сама подала на стол кашу. Степан крикнул и встал.

— Замолчи! — пробормотал он.

* Кончайте же! (франц.).

Марья продолжала плакать.

— Замолчи, тебе говорят! — крикнул Степан.

— Смерть не люблю бабьего крику! — смело забормотал Семен, почесывая свой жесткий затылок. — Ревет и сама не знает, чего ревет! Сказано — баба! Ревела бы себе на дворе, коли угодно!

— Бабья слеза — капля воды! — сказал Максим. — Благо слез не покупать, даром дадены. Ну, чего реветь? Эка! Перестань! Не возьмут у тебя твоего Степку! Избаловалась! Нежная! Поди кашу трескай!

Степан нагнулся к Марье и слегка ударил ее по локтю.

— Ну чего? Замолчи! Тебе говорят! Э-э-э... сволочь!

Степан размахнулся и ударил кулаком по скамье, на которой лежала Марья. По его щеке поползла крупная сверкающая слеза. Он смахнул с лица слезу, сел за стол и принялся за кашу. Марья поднялась и, всхлипывая, села за печью, подальше от людей. Съели кашу.

— Марья, кваску! Знай свое дело, молодуха! стыдно сопли распускать! — крикнул старик. — Не маленькая!

Марья с бледным, заплаканным лицом вышла и, ни на кого не глядя, подала старику ковш. Ковш заходил по рукам. Семен взял в руки ковш, перекрестился, хлебнул и поперхнулся.

— Чего смеешься?

— Ничего... Это я так. Смешное вспомнил.

Семен закинул назад голову, раскрыл свой большой рот и захихикал.

— Барыня приезжала? — спросил он, глядя искоса на Степана. — А? Что она говорила? а? Ха-ха!

Степан взглянул на Семена и густо покраснел.

— Пятнадцать целковых дает, — сказал старик.

— Ишь ты! И сто даст, лишь бы только захотел! Побей Бог, даст!

Семен мигнул глазом и потянулся.

— Эх, кабы мне такую бабу! — продолжал он. — Высосал бы чертовку! Сок выжал! Ввв...

Семен съежился, ударил по плечу Степана и захохотал.

— Так-то, душа! Больно ты комфузлив! Нашему брату комфузиться не рука! Дурак ты, Степка! Ух, какой дурак!

— Вестимо дурак! — сказал отец.

Послышались опять всхлипывания.

— Опять твоя баба ревет! Знать, ревнива, щекотки боится! Не люблю бабьего визгу. Как ножом режет! Эх, бабы, бабы! И на какой предмет вас Бог создал? Для какой такой стати? Мерси за ужин, господа почтенные! Теперь бы винца выпить, чтоб прекрасные сны снились! У барыни твоей, должно полагать, вина того тьма-тьмущая! Пей — не хочу!

— Скот ты бесчувственный, Сенька!

Сказавши это, Степан вздохнул, взял в охапку полсть и вышел из избы на двор. За ним следом отправился и Семен.

На дворе тихо, безмятежно наступала летняя русская ночь. Из-за далеких курганов всходила луна. Ей навстречу плыли растрепанные облачки с серебрившимися краями. Небосклон побледнел, и во всю ширь его разлилась бледная, приятная зелень. Звезды слабей замелькали и, как бы испугавшись луны, втянули в себя свои маленькие лучи. С реки во все стороны потянуло ночной, щеки ласкающей влагой. В избе отца Григория на всю деревню продребезжали часы девять. Жид-кабатчик с шумом запер окна и над дверью вывесил засаленный фонарик. На улице и во дворах

ни души, ни звука... Степан разостлал на траве полсти, перекрестился и лег, подложив под голову локоть. Семен крякнул и сел у его ног.

— М-да... — проговорил он.

Помолчав немного, Семен сел поудобней, закурил маленькую трубочку и заговорил:

— Был сегодня у Трофима... Пиво пил. Три бутылки выпил. Хочешь покурить, Степа?

— Не желаю.

— Табак хороший. Чаю бы теперь выпить! Ты у барыни пивал чай? Хороший? Должно, очень хороший? Рублей пять за фунт стоит, должно быть. А есть такой чай, что за фунт сто рублей стоит. Ей Богу, есть. Хоть не пил, а знаю. Когда в городе в приказчиках служил, я видал... Одна барыня пила. Один запах чего стоит! Нюхал. Пойдем к барыне завтра?

— Отстань!

— Чего ж ты сердишься? Я не ругаюсь, говорю только. Сердиться не след. Только отчего же тебе не идти, чудак? Не понимаю! И денег много, и еда хорошая, и пей, сколько душа хочет... Цигарки ее курить станешь, чаю хорошего попьешь...

Семен помолчал немного и продолжал:

— И красивая она. Со старухой связаться беда, а с этой — счастье! (Семен сплюнул и помолчал.) Огонь баба! Огненный огонь! Шея у ней славная, пухлая такая...

— А ежели душе грех? — спросил вдруг Степан, повернувшись к Семену.

— Гре-ех? Откудова грех? Бедному человеку ничего не грех.

— В пекло к чорту и бедный пойдет, ежели... А нешто я бедный? Я не бедный.

— Да какой тут грех? Ведь не ты к ней, а она к тебе! Пугало ты!

— Разбойник, и рассуждение разбойничье...

— Глупый ты человек! — сказал, вздыхая, Семен. — Глупый! Счастья своего не понимаешь! Не чувствуешь! Денег, должно быть, у тебя много... Не нужны, знать, тебе деньги.

— Нужны, да не чужие.

— Ты не украдешь, а она сама, собственной ручкой тебе даст. Да что с тобой, дураком, толковать! Как об стену горохом... Мантифолию на уксусе разводить с тобой только.

Семен встал и потянулся.

— Будешь каяться, да поздно будет! Я с тобой апосля этого и знаться не хочу. Не брат ты мне. Чорт с тобою... Возись с своей дурой коровой...

— Марья-то корова?

— Марья.

— Гм... Ты этой самой корове и под башмак не годишься. Ступай!

— И тебе было бы хорошо, и... нам хорошо. Дуурак!!

— Ступай!

— И уйду... Бить тебя некому!

Семен повернулся и, посвистывая, поплелся к избе. Минут через пять около Степана зашуршала трава. Степан поднял голову. К нему шла Марья. Марья подошла, постояла и легла рядом с Степаном.

— Не ходи, Степа! — зашептала она. — Не ходи, мой родной! Загубит тебя! Мало ей, окаянной, поляка, ты еще понадобился. Не ходи к ней, Степунька!

— Не лезь!

На лицо Степана мелким горячим дождем закапали Марьины слезы.

— Не губи ты меня, Степан! Не бери греха на душу. Люби меня одну, не ходи к другим! Со мной повенчал Бог, со мной и живи. Сирота я... Только один ты у меня и есть.

— Отстань! Аа... ссатана! Сказал — не пойду!

— То-то... И не ходи, миленький! В тягости я, Степушка... Детки скоро будут... Не бросай нас, Бог накажет! Отец-то с Семкой так и норовят, чтобы ты пошел к ней, а ты не ходи... Не гляди на них. Звери, а не люди.

— Спи!

— Сплю, Степа... Сплю.

— Марья! — послышался голос Максима. — Где ты? Поди, мать зовет!

Марья вскочила, поправила волосы и побежала в избу. К Степану медленно подошел Максим. Он уже разделся и в нижнем платье был похож на мертвеца. Луна играла на его лысине и светилась в его цыганских глазах.

— Идешь к барыне завтра аль послезавтра? — спросил он Степана. Степан не отвечал.

— Коли идти, так идти завтра, да пораньше. Небось лошади не чищены. Да не забудь, что пятнадцать обещала. За десять не иди.

— Я никак не пойду, — сказал Степан.

— Чего так?

— Да так... Не желаю...

— Отчего же?

— Сами знаете.

— Так... Смотри, Степа, как бы мне не пришлось драть тебя на старости лет!

— Дерите.

— Можешь ли так родителям отвечать? Кому отвечаешь? Смотри ты! Молоко еще на губах не высохло, а грубости отцу говоришь.

— Не пойду, вот и всё! В церковь ходите, а греха не боитесь.

— Тебя же глупого отделить хочу! Избу новую надоть строить аль нет? Как потвоему? К кому за лесом пойдешь? К Стрельчихе небось? У кого денег займы взять? У ней или не у ней? Она и лесу даст, и денег даст. Наградит!

— Пуцай других награждает. Мне не нужно.

— Отдеру!

— Ну и дерите! Дерите!

Максим улыбнулся и протянул вперед руку. В его руке была плеть.

— Отдеру, Степан.

Степан повернулся на другой бок и сделал вид, что ему мешают спать.

— Так не пойдешь? Ты это верно говоришь?

— Верно. Побей Бог мою душу, ежели пойду.

Максим поднял руку, и Степан почувствовал на плече и щеке сильную боль. Степан вскочил, как сумасшедший.

— Не дерись, тятка! — закричал он. — Не дерись! Слышишь? Ты не дерись!

— А что?

Максим подумал и еще раз ударил Степана. Ударил и в третий раз.

— Слушай отца, коли он велит! Пойдешь, прохвост!

— Не дерись! Слышишь?

Степан заревел и быстро опустил на полсть.

— Я пойду! Хорошо! Пойду... Только помни! Жизни рад не будешь! Проклянешь!

— Ладно. Для себя пойдешь, а не для меня. Не мне новая изба нужна, а тебе. Говорил — отдеру, ну и отодрал.

— По... пойду! Только... только помянешь эту плеть!

— Ладно. Стращай. Поговори ты мне еще!

— Хорошо... Пойду...

Степан перестал реветь, повернулся на живот и заплакал тише.

— Плечами задергал! Расхныкался! Реви больше! Завтра пораньше пойдешь. За месяц вперед возьми. Да и за четыре дня, что прослужил, возьми. Твоей же кобыле на платок согдится. А за плеть не серчай. Отец я... Хочу — бью, хочу — милую. Так-то-ся... Спи!

Максим погладил бороду и повернул к избе. Степану показалось, что Максим, вошедши в избу, сказал: «Отодрал!» Послышался смех Семена.

В избе отца Григория жалобно заиграл расстроенный фортепиано: в девятом часу поповна обыкновенно занималась музыкой. По деревне понеслись тихие странные звуки. Степан встал, перелез через плетень и пошел вдоль по улице. Он шел к реке. Река блестела, как ртуть, и отражала в себе небо с луной и со звездами. Тишина царила кругом гробовая. Ничто не шевелилось. Лишь изредка вскрикивал сверчок... Степан сел на берегу, над самой водой, и подпер голову кулаком. Мрачные думы, сменя одна другую, закопошились в его голове.

На другой стороне реки высились высокие, стройные тополи, окружавшие барский сад. Сквозь деревья просвечивал огонек из барского окна. Барыня, должно быть, не спала. Думал Степан, сидя на берегу, до тех пор, пока ласточки не залетали над рекой. Он поднялся, когда уже светила в реке не луна, а взошедшее солнце. Поднявшись, он умылся, помолился на восток и быстро, решительным шагом зашагал вдоль берега к броду. Перешедши неглубокий брод, он направился к барскому двору...

II

— Степан пришел? — спросила, проснувшись на другой день, Елена Егоровна.

— Пришел! — отвечала горничная.

Стрелкова улыбнулась.

— А-а-а... Хорошо. Где он теперь?

— На конюшне.

Барыня вскочила с кровати, быстро оделась и пошла в столовую пить кофе.

Стрелкова была на вид еще молода, моложе своих лет. Только глаза одни выдавали, что она успела уже прожить большую часть бабьего века, что ей уже за тридцать. Глаза у нее карие, глубокие, недоверчивые, скорей мужские, чем женские. Красива она не была, но нравиться могла. Лицо было полное, симпатичное, здоровое, а шея, о которой говорил Семен, и бюст были великолепны. Если бы Семен знал цену красивым ножкам и ручкам, то он, наверное, не молчал бы и о ножках и ручках помещицы. Одета она была во всё простенькое, легкое, летнее. Прическа самая незатейливая. Стрелкова была ленива и не любила возиться с туалетом. Имение, в котором она жила, принадлежало ее брату холостяку, который жил в Петербурге и очень редко думал о своем имении. Жила она в нем с тех пор, как разошлась с мужем. Муж ее, полковник Стрелков, очень порядочный человек, жил тоже в Петербурге и думал о своей жене менее, чем ее брат о своем имении. Она разошлась с мужем, не проживши с ним и года. Она изменила ему на двадцатый день после свадьбы.

Севши пить кофе, Стрелкова приказала позвать Степана. Степан явился и стал у двери. Он был бледен, не причесан и глядел, как глядит пойманный волк: зло и мрачно. Барыня взглянула на него и слегка покраснела.

— Здравствуй, Степан! — сказала она, наливая себе кофе. — Скажи, пожалуйста, что это ты за фокусы строишь? С какой стати ты ушел! Пожил четыре дня и ушел! Ушел не спросясь. Ты должен был спроситься!

— Я спрашивался, — промычал Степан.

— У кого ты спрашивался?

— У Феликса Адамыча.

Стрелкова помолчала и спросила:

— Ты рассердился, что ли? Степан, отвечай! Я спрашиваю! Ты рассердился?

— Ежели бы им не говорили таких слов, то я не ушел бы. Я для лошадей поставлен, а не для...

— Об этом не будем говорить... Ты меня не понял, вот и всё. Сердиться не следует. Я ничего не сказала такого особенного. А если и сказала что-нибудь такое, что ты находишь для себя обидным, то ты... то ты... Ведь я все-таки... Я имею право и сказать лишнее... Гм... Я тебе прибавляю жалованья. Надеюсь, что у нас с тобой теперь недоумений никаких не будет.

Степан повернулся и шагнул назад.

— Пстой, пстой! — остановила его Стрелкова. — Я еще не всё сказала. Вот что, Степан... У меня есть новая кучерская одежда. Возьмешь ее и наденешь, а та, что на тебе, никуда не годится. Одежда у меня есть красивая. Я пришлю тебе ее с Федором.

— Слушаю.

— Какое у тебя лицо... Всё еще дуешься? Неужто так обидно? Ну, полно... Я ведь ничего... У меня тебе хорошо будет жить... Всем будешь доволен. Не сердись... Не сердись?

— Да нешто нам можно сердиться?

Степан махнул рукой, замигал глазами и отвернулся.

— Что с тобой, Степан?

— Ничего... Нешто нам можно сердиться? Нам нельзя сердиться...

Барыня поднялась, сделала озабоченное лицо и подошла к Степану.

— Степан, ты... ты плачешь?

Барыня взяла Степана за рукав.

— Что с тобой, Степан? Что с тобой? Говори же наконец? Тебя кто обидел?

У барыни навернулись на глазах слезы.

— Да ну же!

Степан махнул рукой, усиленно замигал глазами и заревел.

— Барыня! — забормотал он. — Буду тебя любить... Буду всё, что хочешь! Согласен! Только не давай ты им, окаянным, ничего! Ни копейки, ни щепки! На всё согласен! Продам душу нечистому, не давай им только ничего!

— Кому им?

— Отцу и брату. Ни щепки! Пусть подохнут, окаянные, от злости!

Барыня улыбнулась, вытерла глаза и громко засмеялась.

— Хорошо, — сказала она. — Ну, ступай! Я тебе сейчас твою одежду пришлю.

Степан вышел.

«Как хорошо, что он глуп! — подумала барыня, глядя ему вслед и любуясь его широчайшими плечами. — Он избавил меня от объяснения... Он первый заговорил о „любви“»...

Под вечер, когда заходящее солнце обливало пурпуром небо, а золотом землю, по бесконечной степной дороге от села к далекому горизонту мчались, как бешеные, стрелковские кони... Коляска подпрыгивала, как мячик, и безжалостно рвала на своем пути рожь, склонившую к дороге свои отяжелевшие колосья. На козлах сидел Степан, неистово стегал по лошадям и, казалось, старался перервать на тысячу частей вожжи. Он был одет с большим вкусом. Видно было, что на его туалет потрачено было немало времени и денег. Недешевый бархат и кумач плотно сидели на его крепкой фигуре. На груди висела цепочка с брелочками. Сапоги гармоникой были вычищены самой настоящей ваксой. Кучерская шляпа с павлиньим пером едва касалась его завитых

белокурых волос. На лице его были написаны тупая покорность и в то же время ярое бешенство, жертвою которого были лошади... В коляске, развалиясь всеми членами, сидела барыня и широкой грудью вдыхала в себя здоровый воздух. На щеках ее играл молодой румянец... Она чувствовала, что она наслаждается жизнью...

— Важно, Степа! Важно! — покрикивала она. — Так его! Погоняй! Ветром!

Будь под колесами камни, камни б рассыпались в искры... Село удалялось от них всё более и более... Скрылись избы, скрылись барские амбары... Скоро не стало видно и колокольни... Наконец село обратилось в дымчатую полосу и потонуло в дали. А Степан всё гнал и гнал. Хотелось ему подальше умчаться от греха, которого он так боялся. Но нет, грех сидел за его плечами, в коляске. Не пришлось Степану улепетнуть. В этот вечер степь и небо были свидетелями, как он продавал свою душу.

Часу в одиннадцатом кони мчались обратно. Пристяжная хромала, а коренной был покрыт пеной. Барыня сидела в углу коляски и с полузакрытыми глазами ежилась в своей тальме. На губах ее играла довольная улыбка. Дышалось ей так легко, спокойно! Степан ехал и думал, что он умирает. В голове его было пусто, туманно, а в груди грызла тоска...

Каждый день под вечер из конюшни выводились свежие лошади. Степан впрягал их в коляску и ехал к садовой калитке. Из калитки выходила сияющая барыня, садилась в коляску, и начиналась бешеная езда. Ни один день не был свободен от этой езды. К несчастью Степана, на его долю не выпало ни одного дождливого вечера, в который он мог бы не ехать.

После одной из таких поездок Степан, воротившись со степи, вышел со двора и пошел походить по берегу. В голове у него по обыкновению стоял туман, не было ни одной мысли, а в груди страшная тоска. Ночь была хорошая, тихая. Тонкие ароматы носились по воздуху и нежно заигрывали с его лицом. Вспомнил Степан деревню, которая темнела за рекой, перед его глазами. Вспомнил избу, огород, свою лошадь, скамью, на которой он спал с своей Марьей и был так доволен... Ему стало невыразимо больно...

— Степа! — услышал он слабый голос.

Степан оглянулся. К нему шла Марья. Она только что перешла брод и в руках держала башмаки.

— Степа, зачем ты ушел?

Степан тупо посмотрел на нее и отвернулся.

— Степушка, на кого же ты меня, сироту, оставил?

— Отстань!

— Ведь Бог накажет, Степушка! Тебя же накажет! Пошлет тебе лютую смерть, без покаяния. Помянешь мое слово! Дядя Трофим жил с солдаткой — помнишь? — и как помер? И не дай Господи!

— Чего пристала? Эх...

Степан сделал два шага вперед. Марья ухватилась обеими руками за кафтан.

— Жена ведь я твоя, Степан! Не можешь ты меня так бросить! Степушка!

Марья заголосила.

— Миленький! Буду ноги мыть и воду пить! Пойдем домой!

Степан рванулся и ударил Марью кулаком; ударил так, с горя. Удар пришелся как раз по животу. Марья ёкнула, ухватилась за живот и села на землю.

— Ох! — простионала она.

Степан замигал глазами, хватил себя по виску кулаком и, не оглядываясь, пошел ко двору.

Пришедши к себе в конюшню, он упал на скамью, положил подушку на голову и больно укусил себя за руку.

В это время барыня сидела у себя в спальней и гадала: будет ли завтра вечером хорошая погода или нет? Карты говорили, что будет хорошая.

III

Рано утром Ржевецкий ехал домой от соседа, у которого он был в гостях. Солнце еще не всходило. Было часа четыре утра, не больше. В голове Ржевецкого шумело. Он правил лошадью и слегка покачивался. Половину дороги пришлось ему ехать лесом.

«Что за чорт? — подумал он, подъезжая к имению, в котором он был управляющим. — Никак кто лес рубит!»

Из чащи леса доносились до ушей Ржевецкого стук и треск ветвей. Ржевецкий наострил уши, подумал, выбранился, неловко слез с беговых дрожек и пошел в чащу.

Семен Журкин сидел на земле и топором обрубывал зеленые ветви. Около него лежали три срубленные ольхи. В стороне стояла лошадь, впряженная в дроги, и ела траву. Ржевецкий увидел Семена. Вмиг с него слетели и хмель и дремота. Он побледнел и подскочил к Семену.

— Ты что же это делаешь? а? — закричал он.

— Ты что же это делаешь? а? — ответило эхо.

Но Семен ничего не отвечал. Он закурил трубку и продолжал свою работу.

— Ты что делаешь, подлец, я тебя спрашиваю?

— Не видишь разве? Пovyлазило у тебя нешто?

— Что-о-о? Что ты сказал?! Повтори!

— То сказал, что ступай мимо!

— Что, что, что?

— Мимо ступай! Кричать нечего...

Ржевецкий покраснел и пожал плечами.

— Каков? Да как ты смеешь?

— Так вот и смею. Да ты-то что? Не испужался! Много вас! Ежели каждого ублажать, так на это много нужно...

— Как ты смеешь лес рубить? Он твой?

— И не твой.

Ржевецкий поднял нагайку и не ударил Семена только потому, что тот указал ему на топор.

— Да знаешь ли ты, негодяй, чей это лес?

— Знаю, пане! Стрельчихин лес, с Стрельчихой и говорить буду. Ее лес, ей и отвечать стану. А ты-то что? Лакей! Фициант! Тебя не знаю. Проходи, прохожий! Марш!

Семен постучал трубкой о топор и язвительно улыбнулся.

Ржевецкий побежал к дрожкам, ударил вожжами и стрелой полетел к селу. В селе набрал он понятых и с ними помчался к месту преступления. Понятые застали Семена за его работой. Вмиг закипело дело. Явились староста, подстароста, писарь, сотские. Написали несколько бумаг. Расписался Ржевецкий, заставили расписаться и Семена. Семен только посмеивался...

Перед обедом Семен явился к барыне. Барыня уже знала о порубке. Не поздоровавшись, он начал с того, что жить нельзя, что поляк дерется, что он только три деревца и т. д.

— Как же ты смеешь чужой лес рубить? — вскипела барыня.

— Мучение от него одно только, — промычал Семен, любуясь вспышкой барыни и желая во что бы то ни стало донять поляка. — Что ни слово — то тресь! Разве так возможно? Да норовит всё по лицу! Этак нельзя... Ведь и мы тоже люди.

— Как ты смеешь мой лес рубить, я тебя спрашиваю? Негодяй!

— Да он вам наврал, барыня! Я, подлинно... рубил... Сознаю... Да зачем он дерется!

В барыне разыгралась барская кровь. Она забыла, что Семен брат Степана, забыла свою благовоспитанность, всё на свете и ударила по щеке Семена.

— Убери сейчас же свою мужицкую харю! — закричала она. — Вон! Сию минуту!

Семен сконфузился. Он ни в каком случае не ожидал такого скандала.

— Прощайте-с! — сказал он и глубоко вздохнул. — Что ж делать-с! Что ж!

Семен забормотал и вышел. Даже шапку забыл надеть, когда вышел на двор.

Часа через два к барыне явился Максим. Лицо его было вытянуто, глаза пасмурны. По лицу видно было, что он пришел наговорить или натворить что-нибудь дерзкое.

— Что тебе? — спросила барыня.

— Здравствуйте! Я, барыня, больше насчет того, чтоб вас попросить. Леску бы, барыня. Степану избу хочу строить, а лесу нету. Досочек бы дали.

— Что ж? Изволь.

Лицо Максима просияло.

— Избу строить нужно, а лесу нету. Последнее дело! Сел щи хлебать, а щей нету. Хе-хе. Досочек, тесу... Тут Семка дерзостей наговорил... Вы уж не сердчайте, барыня. Дурак дураком. Дурь еще из головы не вышла. Не чувствует. Народ такой. Так прикажете, барыня, за лесом приезжать?

— Приезжай.

— Так вы Феликсу Адамычу извольте сказать. Дай Бог вам здоровья! Теперь у Степки изба будет.

— Только я дорого возьму, Журкин! Я леса, сам знаешь, не продаю, самой нужен, а если продаю, то дорого.

Лицо Максима вытянулось.

— То есть как?

— Да так. Во-первых, деньги сейчас же, а во-вторых...

— За деньги я не желаю.

— А как ты желаешь?

— Известно как... Сами знаете. Нонче какие у мужика деньги? Грош, да и того нет.

— Даром я не дам.

Максим сжал в кулаке шапку и начал глядеть в потолок.

— Вы это верно говорите? — спросил он, помолчав.

— Верно. Еще имеешь что сказать?

— Что мне говорить? Лесу не даете, так зачем я с вами говорить стану? Прощайте. Только напрасно вы лесу не даете... Жалеть будете... Мне наплевать, а вы пожалеете... Степан на конюшне?

— Не знаю.

Максим значительно поглядел на барыню, кашлянул, помялся и вышел. Его передернуло от злости.

«Так вот ты какая, шельма!» — подумал он и отправился в конюшню. В конюшне в это время Степан сидел на скамье и лениво, сидя, чистил бок стоящей перед ним лошади. Максим не вошел в конюшню, а стал у двери.

— Степан! — сказал он.

Степан не отвечал, но взглянул на отца. Лошадь пошатнулась.

— Собирайся домой! — сказал Максим.

— Не желаю.

— Можешь ли ты мне это говорить?

— Значит, могу, коли говорю.

— Я приказываю!

Степан вскочил и захлопнул конюшенную дверь перед носом Максима.

Вечером к Степану прибежал из деревни мальчик и рассказал ему, что Максим выгнал Марью из дома и что Марья не знает, где ей переночевать.

— Она теперь сидит около церкви и плачет, — рассказывал мальчишка, — а вокруг нее народ собрался да тебя ругает.

На другой день рано утром, когда в барском доме еще спали, Степан надел свою старую одежду и пошел в деревню. Звонили к обедне. Утро было воскресное, светлое, веселое — только бы жить да радоваться! Степан прошел мимо церкви, взглянул тупо на колокольню и зашагал к кабаку. Кабак открывается, к несчастью, раньше, чем церковь. Когда он вошел в кабак, у прилавка уже торчали пьющие.

— Водки! — скомандовал Степан. Ему налили волки. Он выпил, посидел и еще выпил. Степан опьянел и стал подносить. Началась шумная попойка.

— Много ты у Стрельчихи жалованья получаешь? — спросил Сидор.

— Сколько следовало. Пей, осел!

— Доброе дело. С праздником, Степан Максимыч! С воскресным днем! А вы что же?

— И я... И я пью...

— Очень приятно... Всё это, собственно говоря, очень благополучно и обольстительно, Степан Максимыч! Так-с... А позвольте вас спросить, рублей десять получаете?

— Ха-ха! Разве можно барину на десять целковых прожить? Что ты? Он сто получает!

Степан посмотрел на сказавшего это и узнал в нем брата Семена, который сидел и углу на скамье и пил. Из-за Семена выглядывала пьянеющая физиономия дьячка Манафуилова и преехидно улыбалась.

— Позвольте вас спросить, господин, — заговорил Семен, снимая шапку, — у барыни хорошие лошади или нет? Вам нравятся?

Степан молча налил себе водки и молча выпил.

— Должно быть, очень хорошие, — продолжал Семен. — Только жаль, что кучера нет. Без кучера не того...

Манафуилов подошел к Степану и покачал головой.

— Ты... ты... свинья! — сказал он. — Свинья! К тебе не грех? Православные! Ему не грех! А что в писании сказано, а?

— Отстань! Дурь!

— Дурь... Ты зато умный. Кучер, а не при лошадях. Хе-хе... Она вам и кофию дает?

Степан размахнулся и ударил бутылкой по большой голове Манафуилова. Манафуилов пошатнулся и продолжал:

— Любовь! Какое это чувство... Фф... Жаль, повенчаться нельзя. Барин был бы! А из него, ребята, славный барин вышел бы! Строгий барин, развитой!

Послышался хохот. Степан размахнулся и в другой раз ударил бутылкой по той же голове. Манафуилов пошатнулся и на этот раз упал.

— Ты чего же это дерешься? — закричал Семен, наступая на брата. — Повенчайся — тогда и дерись! Ребята, чего он дерется? Чего ты дерешься, я спрашиваю?

Семен прищурил глаза, взял Степана за грудь и ударил его под ложечку. Поднялся Манафуилов и замахал своими длинными пальцами перед глазами Степана.

— Ребята! Драка! Ей Богу, драка! Напирай!

В кабаке зашумели. Говор смешался со смехом.

У кабацких дверей столпился парод. Степан схватил Манафуилова за воротник и швырнул его в дверь. Дьячок взвизгнул и шаром покатился по ступеням. Захохотали сильнее. Народу набилось в кабак полнехонько. Сидор вмешался не в свое дело и, сам не зная за что, ударил Степана по спине. Степан схватил Семена за плечо и швырнул его в дверь. Семен ударился головой о косяк, сбежал по ступенькам и упал мокрым лицом в пыль. К нему подскочил брат и заплясал на его животе. Он заплясал с остервенением, с наслаждением, высоко подпрыгивая. Прыгал он долго...

Зазвонили к «Достойно». Степан посмотрел кругом. Вокруг него торчали смеющиеся рожи, одна другой пьяней и веселей. Множество рож! С земли поднимался растрепанный, окровавленный Семен с сжатыми кулаками, с зверским лицом. Манафуилов лежал в пыли и плакал. Пыль облепила его глаза. Кругом и около было чорт знает что!

Степан встрепенулся, побледнел и побежал, как сумасшедший. За ним погнались.

— Лови! Лови! — закричали ему вслед. — Держи! Убил!

Степана охватил ужас. Ему показалось, что если его догонят, то непременно убьют. Он побежал быстрее.

— Лови! Держи!

Он, сам того не замечая, добежал до отцовского дома. Ворота были открыты настежь, и обе половинки их покачивались от ветра... Он вбежал во двор.

На куче щепы и стружек в трех шагах от ворот сидела его Марья. Поджав под себя ноги и протянув вперед свои обессилевшие руки, она не отрывала глаз от земли. При виде Марьи в взбудораженных и опьяненных мозгах Степана вдруг мелькнула светлая мысль...

Бежать отсюда, бежать подальше с этой бледной, как смерть, забитой, горячо любимой женщиной. Бежать подальше от этих извергов, в Кубань, например... А как хороша Кубань! Если верить письмам дяди Петра, то какое чудное приволье на Кубанских степях! И жизнь там шире, и лето длинней, и народ удалее... На первых порах они, Степан и Марья, в работниках будут жить, а потом и свою земельку заведут. Там не будет с ними ни лысого Максима с цыганскими глазами, ни ехидно и пьяно улыбающегося Семена...

С этой мыслью он подошел к Марье и остановился перед ней... А голова между тем кружилась от хмеля, в глазах мелькали цветные пятна, во всем теле чувствовалась боль... Он едва стоял на ногах...

— В Кубань... того... — проговорил он, чувствуя, что его язык теряет способность говорить... — В Кубань... К дядьке Петру... Знаешь? Что письма писал...

Но не тут-то было! Разлетелась в пух и прах Кубань... Марья подняла свои умоляющие глаза на его бледное, шальное лицо, наполовину закрытое давно уже нечесанными волосами, и поднялась... Губы ее задрожали...

— Это ты, разбойник? — заголосила она. — Ты? Рожу, знать, в кабаке раскроили? Проклятый! Мучитель ты мой! Пущай тебе на том свете так будет злодею, как ты высосал меня всю! Убил ты меня, сироту!

— Молчи!

— Лютые! Не жалеее вы души христианской! Замучили всю, разбойники... Душегубец ты, Степка! Матерь Божия накажет тебя! Постой! Задаром тебе это самое не пройдет! Ты думаешь, что только одна я мучаюсь? И не думай... И ты помучишься...

Степан замигал глазами и пошатнулся.

— Молчи! Ну, Христа ради!

— Пьяница! Знаю, на чьи деньги ты пьян... Знаю, разбойник! От радости пьешь? Знать, весело?

— Молчи! Машка! Ну...

— А пришел чего? Чего надо? Похвастать пришел? И без хвастанья знаем... Весь мир знает... Глаза небось целый день тобой колют, окаянный...

Степан топнул ногой, пошатнулся и, сверкая глазами, толкнул локтем Марью...

— Молчи, говорят! Не хватай за сердце!

— Буду говорить! Ты драться? Ну что ж... Бей... Бей сироту. Один конец... Какой ласки ждать? Знай бей... Добивай, разбойник! На что я нужна тебе? У тебе барыня есть... Богатая... Красивая... Я хамка, а она дворянка... Чего ж не бьешь, разбойник?

Степан размахнулся и изо всей силы ударил кулаком по искажившемуся от гнева лицу Марьи. Пьяный удар пришелся по виску. Марья пошатнулась и, не издав ни одного звука, повалилась на землю. В то время, когда она падала, Степан ударил ее еще раз по груди.

Муж нагнулся к теплому, но уже умершему телу жены, поглядел мутными глазами на ее исстрадавшееся лицо и, ничего не понимая, сел возле трупа.

Солнце поднялось уже над избами и жгло. Ветер стал горячим. В знойном воздухе повисла угнетающая тоска, когда дрожащий народ густой толпой окружил Степана и Марью... Видели, понимали, что здесь убийство, и глазам не верили. Степан обводил мутными глазами толпу, скрежетал зубами и бормотал бессвязные слова. Никто не брался связать Степана. Максим, Семен и Манафуилов стояли в толпе и жались друг к другу.

— За что он ее? — спрашивали они, бледные, как смерть.

Мать бегала вокруг и голосила...

Доложили о случившемся барыне. Барыня ахнула, ухватила за пузырек со спиртом, но без чувств не упала.

— Ужасный народ! — зашептала она. — Ах, какой народ! Негодяи! Хорошо же! Я им покажу! Они узнают теперь, что я за птица!

Утешать явился Ржевецкий. Он утешил барыню и занял опять свое место, отнятое у него капризной барыней для Степана. Место доходное, теплое и самое для него подходящее. Десять раз в год его прогоняли с этого места и десять раз платили ему отступного. Платили немало.